

# Красный снег

---

## *Вступление и публикация Вадима Перельмутера*

### ***Несколько слов об архиве-призраке и новелле-невидимке***

*"...Меня не покидало беспокойство о Сигизмунде Доминиковиче. Мы жили на разных квартирах и обычно встречались вечером. Утром я не знала, как прошла ночь, проснулся ли он в своей постели. Иногда, не в силах дождаться вечера, я после трех часов звонила в редакцию, зная, что в это время работа уже прекращалась и звонок не выдст моей тревоги. Мне отвечали: "Кржижановский был, уже ушел", – и я спокойно дожидалась вечерней встречи.*

*Особенно меня волновала судьба рукописей. Он правил рукописи у меня на квартире и тут же оставлял их. Почти все они лежали у меня в шкафу на полке, прикрытые черной, шитой золотом парчой (иронический намек на их литературное небытие)"...*

*Этот фрагмент воспоминаний жены Сигизмунда Кржижановского Анны Бовшек относится к пограничью двадцатых-тридцатых годов.*

*И далее: "...Настроение, общую подавленность и настороженность тех дней Кржижановский отразил в рассказах "Красный снег" и "Воспоминания о будущем"."*

*В данном случае "рассказы" – не обозначение жанра: стостраничную повесть "Воспоминания о будущем" куда вернее было бы назвать "романом". Но так Бовшек именует в мемуарах все сочинения Кржижановского.*

*Повесть – единственная прозаическая вещь Кржижановского, написанная в 1929 году.*

*В двух сохранившихся, составленных писателем "Автобиблиографиях" датой 1930 помечены три заглавия: "Чужая тема", "Материалы к биографии Горгиса Катафа-лаки" и "Красный снег". Два из этих трех произведений – большая новелла и повесть – опубликованы мною полтора десятка лет назад, их машинописи есть в архивном фонде Кржижановского, хранящемся в РГАЛИ, обнаружили они и среди тех сочинений, которые Бовшек подарила немногочисленным своим друзьям "на память о Сигизмунде Доминиковиче" и которые в семидесятых-восемидесятых годах осели постепенно в моем собственном архиве.*

*Все вещи, обозначенные в "Автобиблиографиях", в этих двух архивах были. Кроме одной.*

*"Красного снега" не было нигде.*

*Искать его стоило уже хотя бы по одному тому, что им, в сущности, почти завершаются пять наиболее интенсивных и ярких лет в творчестве Кржижановского-прозаика, когда написаны почти все самые значительные, знаковые его новеллы и повести – те, которые ныне определяют совершенно особое место этого писателя в русской литературе, и не только в ней (добавить можно разве что появившийся годом позже "Мост через Стикс")...*

*Через семнадцать лет после смерти мужа, в 1967 году, уезжая "доживать" из Москвы в родную Одессу, Анна Гавриловна увезла с собой и все бумаги Кржижановского, которые в начале пятидесятых не отдала в государственный архив. По большей части – копии того, что есть в РГАЛИ (кое-что присылала друзьям и оттуда). Но резонно было предположить, что не только. Ну хотя бы потому, что в РГАЛИ нет ни одной рукописи этого писателя (исключение – письма), даже "Записные Тетради" здесь являют собою стопку машинописных страниц. Конечно, известно, что Кржи-*

жановский свои сочинения преимущественно не писал, а диктовал машинисткам (в письмах называл свою работу “диктантами”), но всё же полное отсутствие рукописей... Возможно ли?..

Десять лет назад, в Одессе, на даче семьи Бовшек (Большой фонтан, 16-я станция) я беседовал с родственницами, верней – свойственницами Анны Гавриловны. И старшая из них, вдова племянника, Валентина Осмоловская, подтвердила: бумаги были, много бумаг, десятки папок да еще фотографии. И всё это – после смерти Анны Гавриловны – ее сестра, Екатерина Довгань (свекровь Осмоловской), передала в Одесское отделение Литфонда УССР. Благо работники ононого были ей хорошо знакомы: принадлежащий Литфонду Дом творчества соседствует с дачей Бовшек, которую дирекция Литфонда одно время пыталась присвоить, но уладилось, обошлось.

По моей просьбе к поиску подключились сотрудники Одесского Литературного музея. И ни следа не обнаружили. Из разнообразных предположений в итоге осталось два – совершенно пессимистическое и сдержанно оптимистическое.

Первое: бумаги попросту – тогда же – выбросили. Мало ли безумных вдов, убежденных, что их мужья были гениальными писателями, и заваливающих сочинениями покойного редакции и архивы! Мне и самому с такими доводилось встречаться...

Второе: распорядиться бумагами столь решительно работникам Литфонда могло (должно ли было? – вопрос) помешать то, что Кржижановский числился членом Союза писателей. И если в городском архиве папок нет, надо думать, их переслали “по команде”, то бишь в Литфонд Украины. В Киев.

Там их, впрочем, тоже искали.

В частности, молодые гуманитарии-киевляне, затеявшие в начале девяностых издание внушительных размеров журнала “Новый круг” и возделавшие в каждом номере печатать материалы, так или иначе связанные с творчеством замечательного земляка. Осуществить сие сумели, однако вышло всего три номера.

Или посетившая украинскую столицу московская аспирантка, писавшая диссертацию о Кржижановском. Ей удалось откопать в напластованиях ветхой периодики несколько публикаций Кржижановского, относящихся, по определению автора, к “дописательскому” периоду, – и выстроить на этом основании собственный, концептуальный вариант понимания и оценки творчества писателя.

Были и другие искатели.

Архив не дался в руки никому.

Короче, к 1999 году, когда началась работа над пятитомным собранием сочинений Кржижановского, “базовый” архив его представлялся скорее призраком, фантомом, нежели реальностью. Это огорчало, но не слишком удивляло. Уж если могилу писателя, умершего в Москве в 1950 году, найти невозможно, что говорить о давным-давно и неведомо где заблудившихся его бумагах, которые не могли сказать ничего ассоциативно-внятного практически никому из тех, у кого в руках могли очутиться. Ибо автор этот – прижизненно и посмертно – был известен лишь “своей неизвестностью”... Изучая его биографию, исследуя написанное, ко всякого рода странностям не то чтобы привыкаешь, но неизбежно с ними смиряешься. Как сказал однажды Владимир Николаевич Топоров, было бы куда более странно, если бы “вокруг Кржижановского” подобных вещей не происходило.

За пять лет изданы три тома собрания сочинений, включившие в себя, как я полагал, всю завершенную прозу Кржижановского. Вот-вот появится внушительный четвертый – исследования и статьи о литературе и театре. Почти завершилась работа над пятым – пьесы, незавершенное, Записные Тетради, письма, воспоминания о писателе, вклейка с фотографиями. Поиск нескольких фотографий для этой самой вклейки и привел внезапно к обнаружению архива. В Киеве. Почему до сих пор он ускользал –

для меня загадка. Поддастся ли разгадыванию? – не уверен. Ведь даже документ о принятии архива на хранение – не без странности, совершенно в духе Кржижановского. Там сказано, что переданы папки в 1972 году женой писателя Анной Бовшек, умершей, как известно, в семьдесят первом...

В описи фонда, кроме “Красного снега”, значится еще несколько вещей, о которых я доселе не слыхивал: в “Автобиблиографиях” они не упомянуты. И еще – наброски, конспекты статей, больше похожих на монографии (скажем, “История ненаписанной литературы”), автографы, фотографии. Так что пятому тому – и пятого тома – придется подождать.

Быть может, в том и дело, думается мне, что архив возник именно тогда, когда, помедли он еще немного, в пятитомник его содержимому было бы уже не попасть. Кто знает...

Можно понять, читатель в том убедится, почему Анна Бовшек не рискнула не только доверить это сочинение государственному архиву, но и просто выпустить из рук – под любознательные глаза. При жизни оно было смертельно опасно для автора, после смерти – для его наследия. И тем более опасно, что речь идет об одном из самых художественно завершенных и совершенных сочинений Кржижановского. Кто хорошо знает предмет, то бишь судьбу литературы советской поры, поймет, что одного такого текста вполне могло хватить для того, чтобы все произведения автора канули в беспамятство, в бездну спецхрана: мост через Стикс перейти им было бы не дано...

Судя по машинописи (а рукопись не сохранилась, во всяком случае, искать ее теперь уже негде), Бовшек отдавала себе в том отчет. Рискну предположить, что перепечатывала новеллу она сама – неумело, на старенькой, с истертыми литерами, машинке, с трудом разбирая неумолимо-сгущающую строки авторскую правку, все эти вымарки и вставки, перестановки слов и фрагментов. Ни на одну из множества прежде виданных мною машинописей Кржижановского эта решительно не похожа...

Я глубоко признателен своим друзьям – Татьяне Rogosovskoy (Киев) и Валерию Петрову (Москва) за неоценимую помощь в подготовке этой публикации.

Вадим ПЕРЕЛЬМУТЕР

В покорности судьбе необходимо упражняться. Как и во всяком другом искусстве. Так утверждает, во всяком случае, гражданин Шушашин. Каждый свой день, обувшись и умывшись, прежде чем набросить на плечи пиджак, он начинает экзерцисом. Опять-таки выражение принадлежит ему. Экзерцис заключается в следующем: подойдя к стенке, он прислоняется к ней лопатками и стоит так в позе предельной покорности. Минута-две. И всё. Экзерцис окончен. Можно начинать жить.

Так было и в это мутное зимнее утро, скорее похожее на поседевшую за ночь ночь. Покончив свое упражнение, не требующее других приборов, кроме человека, стенки и лба, подставленного под что угодно, Шушашин перебросил через плечо петлю помощей, вздохнул, потом зевнул и прищурился в окно: против окна – окно, в окне – желтый блик лампочки, точно заблудившийся меж дня и ночи. Шушашин прибавил к вчерашней дате единичку и влез руками в рукава пальто.

Семь поворотов лестницы, ржавый всхлип дверной пружины, двор, длинный сводчатый проход из двора во двор, ворота, улица.

Шушашин занят очень трудной работой: безработицей. Каждый день навестить десяток обещаний, спросить в телефон у дюжины пятизначных цифр – “ну, как? тоже? никак? завтра?” – снова и снова обивать пороги, стараясь не сбивать подошв, которые от дня к дню, вместе с надеждой, тончают и тончают.

Асфальт и камни были под пленкой гололеди. Туман шел в сорока шагах впереди глаза, заслоняя собой все вещи. Огибая угловой дом, длинным вялым солитером тянулась очередь: к чему-то. Лавируя меж автомобильных рожков, Шушашин пересек перекресток. Другая: корзины, свисшие с рук, платки и кепки. Шушашин свернул в переулок, схватывая глазами бумажные квадратики, белеющие то тут, то там со стены: а вдруг. “Окрашиваю вещи в черный цвет” – “любую вещь недорого крашу в черный цвет” – “в черный цвет”... что за чорт... Шушашин отдернулся зрачками и продолжал шагать, выбирая желтые пятна песку поверх льда. И вдруг он почти наткнулся на вынырнувшие из тумана слова:

– Э, батенька, из квартиры... Меня вот из собственной моей головы выселили, и я ничего. А вы...

И двое быстро прошли мимо. Шушашин оглянулся. Две спины: одна под толстой шубой с головой, провалившейся в встопорщенный мех, другая в истрепанном куце демисезоне с разинутой распоркою внизу.

Затем переулок повернул, огибая молчаливую низкорослую колокольню и железо ограды влево. Еще минута – и навстречу стал надвигаться знакомый хмурый контур с чинным гранитом ступеней, вводящих в него. Сквозь дверь проталкивалась, шумя и переплетаясь, экскурсия, но на нижней ступеньке, отдельно от других, стояло двое, притоптывающих валенками. Один был молод и строен, с растопыренными наушниками из-под шапки, другой в сизо-белой бороде под цвет туману, низкий и сутулый, казалось, с каждым словом втапывался еще больше в землю:

– Ну, вот. Осмотреть Москву в невпопадный час. Чего захотели! Это за музейными номерками от одиннадцати до четырех. А Москве смотрины в неписанный час.

– Какой такой неписанный? – качнулись наушники.

– А такой: черный – когда и в окнах, и в людях ночь и нигде, ни в переульчье, ни на площадях, ни живой души.

– Почему?

– Простей простого: потому что в Москве ведь ни души.

Наушники, подхлестнутые ветром, встопорщились:

– Но ведь...

– Правда, правда, правда! – прокричал мальчишка, прорывая туман толстой пачкой газет, и через секунды голос его был далек и глух.

Шушашин обошел стороной конец разговора. С расстояния достаточного для неслышания он еще раз повернул голову к абрису музея: двое подымались по его ступенькам, борода сутулого втуманивалась в туман, и с каждым шагом он втапывался всё ниже и глубже в камень. “Хватит его до входа или не хватит?” – вскользнулось в мысль Шушашину, но опасливый рефлекс дернул за шейные мускулы, и Шушашин, не досмотрев, свернул за угол. Кстати, неподалеку, за граненой дверью подъезда, обитала пятизначная цифра, обещавшая замолвить слово кому надо. И началось. Шушашин взобрался на четвертый этаж, спустился, опять на пятый, скользя по поручню вниз, на третий, четвертый, пятый, третий, цепляясь за поручень, на шестой – и остановился на шахматных серо-белых камнях площадки, тяжело дыша и оглядываясь на сейсмограммически изогнутую желтую линию поручня, опутывающего провал пролета. И на этот раз неуловимое, меняющее знаки пятицифрия, представилось ему в виде юркой мыши, прячущейся под мембрану с длинным – на километры – из-под переулка в переулки извивающимся телефонной проволокой хвостом. И он стал медленно спускаться. По лестнице вниз сновали портфели. Двумя этажами под резко распахнулась дверь, выбросила вскрик “ты у меня ног не соберешь!” и со звоном захлопнулась. И Шушашин, устало опадая со ступеньки, думал, что, если для того, чтобы собрать две ноги, нужно “х” времени, то осьминогу, чтобы собрать восемь ног, или вот тысяченожке... и вдруг, сдернув с мозга нитонисётину, огляделся: где и что? Желтая, сомкнувшая длинные створы двери; на двери дощечка:

врачу Бухгалтеру – три раза  
Ю. Ю. Тишашеву – два раза  
Безносенко – один раз  
И. Я. – ни разу.

Рука Шушашина в нерешительности описала круг около звонковой кнопки: интересно бы взглянуть на этого И. Я.; только как до него добраться?

Рука упала, ноги досчитали ступеньки. Шушашино отражение, скользкое на скользком стекле, под толчком ладони посторонилось, Шушашин вышагнул на улицу и повернул плечо вдоль тротуара. Туман редел, но люди шли гуще. Солнце пробовало протолкнуться лучами сквозь толпу серых, в солдатском сукне, туч, но те не размыкали плеч. Теперь Шушашину незачем было спешить. Пусть дымы вверх и вниз над трубами, ему ни к кому и ни от кого, все вертикали проделаны, остается лишь длинная, неизмотанным клубком, безнадежная горизонталь.

Внезапно улицы сшиблись в площадь. Автомобили. Трамвайные короба. В центре, у скрещения рельс, замотанная в платки женщина, тыча чем-то, похожим на кочергу, в стыки, расцепляла накатывающие друг на друга вагоны. Рядом с хлопчущей фигурой – складной табурет, но лязгающие номера не давали роздыху.

Шушашину было всё равно куда, и кружение колес загнало его шаги на выгнутый белый обод бульвара. Здесь было тише, но печальнее. Безлистные деревья, пустые обмерзлые скамьи. Идя вдоль ряда стволов, Шушашин вдруг заметил: на одном из них – прямым парусом фон уличного фотографа; рядом – шевелящий прямыми метлами, прилаживающийся к защелку, аппарат. Вокруг паруса – несколько хмурых людей, обнаживших головы. Что бы это? Шушашин приблизился: против выпяченного стеклянного глаза аппарата, у желтого дворца, увитого розами, и лебедей, плывущих над синью озер, – короткий детский гробик с желтым головастиком внутри. Женская рука, скользнув в последний раз вдоль деревянного ранта, поправила стылую пяточку в желтом чулке и отодвинулась. Мембрана щелкнула. “Да, так дешевле”, – бормотал Шушашин, продолжая сгибать и разгибать колени мимо стволов и скамей. Но усталость подвешивалась гирями к шагам и мглила мысль. Надо передохнуть. Ближайшая же скамья подставила холодную спинку и позволила вытянуть ноги. Мужчина и женщина, сидев-

шие у другого края, оборвали разговор. Но Шушашин даже не взглянул. И только через минуту, когда слова, возвратившись, заставили его, скосил глаза в сторону пары.

Говорил, лишь изредка останавливаемый репликой, собственно, один мужчина. Плечо его, повернутое к истертому жухлому плюшу, под которым пряталось ухо собеседницы, гневно вздергивалось:

– Они мне прислали анкету: ваше отношение к религии? Бог – ведь это лишенец, которого надо выселить из им построенного мира. Не так ли? Но давай всерьез. Я уже набросал черновик ответа. И я им пишу: “Бога, разумеется, нет, потому что, если бы он был, то мог бы, по всемогуществу своему, создать себе более умных противников, чем тупые писаки из “Безбожника”. Ну, что ты скажешь?

Истертый плюш прикоснулся к руке мужчины:

– Что ты не пошлешь. Не надо.

– Но ведь должен же я сказать...

– Не надо.

Мужчина качнулся плечами вперед, зажал пясти рук меж колен и всматривался в затоптанный снег дорожки.

– Может быть, ты права. Как всегда. К чему быть глупее глупых. Знаешь, я еще в отрочестве думал: если та гигантская трехипостасная тень усумнится в людях, то людям только и остается – на неверие неверием. Ну и всё это вздор, архаическое трехбуквие, которое я давно уже вышвырнул из головы. Но, понимаешь, теперь я опять начинаю верить, да, начинаю, но... в другое. Мне кажется, нет – я знаю, только ты не пугайся, я *вижу*, что загробная жизнь есть. Да, да, это факт.

– Вадя...

– Я повторяю – факт. Разве ты не замечала, что уже несколько лет, как в нашу жизнь вкралось несуществование. Исполволь, тишком. Мы еще вправлены в свое старое пространство, как пни на месте срубленного леса. Но жизни наши давно уже сложены в штабеля, и не для нас, а для других. Вот эти часы с пульсирующей стрелкой на моем запястье еще мои, но время уже не мое, оно чужое и не пустит ни меня, ни тебя ни в единую из своих секунд. Ведь что такое смерть? Частный случай *безнадежности*. Только. И разве мы, в самом наименовании которых “интеллигенты” всё еще слышится древнее слово *intelligentia*<sup>1</sup>, разве мы все не вчерчены в безнадежность!.. Людей прибыло. Земли убыло. И становится так тесно, что сразу и быть, и сознавать уже нельзя. Что ж, пусть берут бытие, – я предпочитаю не быть, но сознавать. Только вот у тебя дрожат пальцы. Это нехорошо. Тут ничего страшного: ведь и в безнадежности есть острый, как лезвие, восторг. Посмотри вот на эти деревья, опадающие пальчатыми ветвями к земле: они грустят о нас, тех, которые умели их видеть. Или ранние зимние приполуденные сумерки – ты заметила, как они – пепельной просыпью сквозь поры воздуха? И там вот вдалеке, за стеклом, – первый огонь – как поминальная лампада. Ничего, ничего, ничего. Будем учиться не жить, будем...

Шушашин, стараясь не зацепить за ножку скамьи, встал и, беззвучно ступая, отошел от беседы. Минуту-другую он шел, как-то странно обходя предметы и людей, с видом неопытного привидения, по ошибке забредшего в дневной свет.

Впрочем, воздух действительно уже тронуло пеплом, а закат, навстречу его шагам, горел гигантскими желтыми кострами. На закрючинах ветвей – стая черных картавых вороньих клякс. Застывшие ноги, постепенно разминаемые ходьбой, размертвелись и быстрее проделывали шаг. Вскоре у конца бульвара Шушашин нагнал троих прохожих, шедших вплотную друг к другу. Средний, поворачиваясь то к правому, то к левому спутнику, досказывал:

---

<sup>1</sup> понимание (*лат.*).

– Ну, вот: подходит это он к своему дому. А у них, надо вам знать, двор, потом подворотня, потом другой двор. Подходит, говорю... ночь, все окна потушены, а только в его окне свет. Ну, известно что. И пойти, и не пойти: одно. Сунул он, это, руку в карман, а в кармане у него штучка, на ношение которой тоже документ полагается – и...

Шушашин хотел нагнать конец фразы, но ноги его как-то странно цеплялись за землю, он схватился за столб и вспомнил, что с утра не ел. Три спины канули в толпу. Слева была дверь с двумя меню поверх жести по бокам. Шушашин хотел было толкнуть дверную ручку, но дорогу ему перегородил кусок картона, подвешенный на шпагате:

*Столовая закрыта на обед.*

Пришлось вспоминать, нет ли поблизости другой. Еще четверть часа ходьбы, и Шушашин сидел у тарелки, поставленной в ряд с дюжиной других по краю узкого, крытого клеенкой, стола. В столовке уже горело электричество. Над тарелками стоял пар и гомон голосов. Шушашин, наклонившись над своим супом, старался сосредоточить слух на стуке ложки о глину, но голоса соседей назойливо лезли в уши. Напротив, за узкой доской, взорвался веселый смех. Шушашин взглянул сквозь суповый пар. Несколько молодых веселых лиц с вздернутыми надо лбами козырьками кепок. Вероятно, вузовцы или из литфака. Широкоскулый юноша, соскабливавший хлебной коркой рыжий соус с тарелки, проглотил корку и, лукаво блеснув глазами, добавил:

– Или вот. Пишет он рассказ. Заглавие не помню. “Мы шли поздней ночью по одному из московских переулков. Черные окна крепко спали. Все звуки точно придавило к земле тьмой. И если б не скрип снега из-под четырех подошв и не протяжное надсадное пение вторых петухов” ... Ха-ха, не дурно вляпался на петухах, а?

Одобрительное кмыхание соседей подтверждало.

– Но почему же... – начал было Шушашин, но сипотой ему перервало голос.

Лицо над запрокинувшимся козырьком юмористически сузило глаза:

– А потому, гражданин, что столичные шантеклеры, с вашего разрешения... – Юноша неторопливо пошарил по столу, взял в руку нож и, описав им дугу в воздухе вокруг своего горла, аккуратно положил нож на место. Новый взлет смеха сопровождал трюк. Шушашин снова опустил глаза в тарелку.

Стулья напротив, скребя ножками о пол, отодвинулись. Но откуда-то сбоку, из-за вазона с бумажной пальмой, бубнил мутный голос:

– По статистике больших центров каждый двенадцатитысячный попадает под колеса. Следовательно, распределяя, так сказать, поровну и по справедливости, одна двенадцатитысячная любого из нас раздавлена автомобилем. И вот...

Шушашин, делая усилие выдернуться ушами из гомона, придвинул к тарелке горчицу и ткнул лопаточкой в ее облепленное коричневой коростой горлышко; но тычок уперся во что-то твердое и упругое; Шушашин ковырнул сильнее, и наружу, застревая в дыре, выставился облипший горчицей старый и растрескавшийся презерватив. Шушашин оттолкнул тарелку и встал. К горлу скользил тошнотный ком. Душный пар с масляной пригорью мглил глаза. Он рванул за дверь.

Уличный воздух уже переделся в вечерний креп. Монотонно пели голоса газетчиков. Из-за угла, метнувшись желтым двухглазием, взвыл автомобиль: как если б и его переехали.

Шушашин шел мимо огней и лиц и думал, что скорее бы к себе, защелкнуть свет и лицом в подушку. Но знакомые кварталы странно длиннились, растягиваясь, как резина. Магазин с игрушками, казалось, уже пройден – и вот он опять лезет крашеной пестрядью в зрачки.

Наконец-то, издалека знакомые ворота. Дом – еще дом – аптечная вывеска – потом яркая витрина, за которой на пустых прилавках круглые и красные, как головы, ободранные от кожи, деревянные сыры, – срыв кирпичных ступенек в “скоропочинную” – и

сквозь сквозняк подворотни – двор – туннель второй подворотни. И тут, под второй навесью, внезапно из-за спины – мысль: а что если окно?...

Шушашин круто стал, весь в облипи пота. Но мимо – по стене туннеля – чья-то фигура: прошла, не оглянувшись. И еще: оглядела и замедлила шаг. Шушашин усилием воли толкнул мускулы. Из глубины второго двора рядами окон вплывал в поле зрения каменным фрегатом дом: *его*, шушашинское, окно было черным. “Чортовы нервы, – пробормотал и освобожденно вздохнул, – наметет в голову всякого – и”...

В комнате за дверной задвижкой было тепло и почти отдохновенно. Правда, терлись голоса соседей, на кухне стучали посудой и накачивали шум в примус, но все-таки можно было хоть одним ухом в глухую подушку и сверху прикрыться тьмой. Только окно, что насупротив окна его комнаты, чуть-чуть раздражало Шушашина: то квадратится красным светом, то погаснет, и опять. “Как испорченная зажигалка”, – подумал Шушашин и прикрыл глаза ладонью. Лежа лбом к стенке, он пробовал слабеющими мыслями развязать и сбросить с себя день, как перед этим развязал и сбросил с пят ботинки. Но связи путались и стягивались узлами, и тесный день продолжал охватывать мозг: лестницы рябили ступенями, и сквозь зажатые веки деревья бульваров протягивали нищенские ветви, прося уметь их видеть, а сутулый человечек в бороде из тумана упрямо втаптывался в землю, приговаривая, что не от одиннадцати, и не от двенадцати, и не от тринадцати, и не от... цифры сине-белыми надворотными номерами скользили неисчетной чередой, человечек уж из аршинного стал футовым, из футового вершковым, из вершкового дюймовым, из дюйм...

Шушашин, напряженно всматриваясь зажатыми глазами, хотел изловить топтуна, когда он из миллиметров вплющится в нули, но сбоку – как-то сквозь виски – ударило теплым ветром, и миллимикроны, а вслед за ними примусовый шорох и все до последнего призвуки из зрительных точек в глазах, свеянное кануло в... во что? Он пробовал оторвать ухо от подушки, настигнуть зрачками, но голова то ухала в тьму, то неслась, задевая о желтые огни, чтобы снова кануть в пустоту. И вдруг крутой поворот ветра сбросил виски кверху, и Шушашин увидел себя сидящим на кровати, ладонями в тю-фяк.

В комнате было темно. За стенками – ни единого звука. В стеклянной мембране окна – ни легчайшего эха улиц. Молчание было так полно, что можно было слышать тембры своих мыслей: ну да, конечно, это тот черный час, когда, пока всё спит, бодрствует смысл. Шушашин улыбнулся в темноту: миллимикронам не вернуться; теперь – нет. И подтянул к пятам подошвы. Тело его было странно легким и гибким. Дверь беззвучно отворилась. В коридоре и в кухне все углы и вещи точно сторонились его шага. Лестница. Дворы. И снова улица: но теперь иная и новая. Черные глазницы окон над пустыми стланиями земли. Ни обоза, ни шага. И только вдоль панели и сквозь виски – устойчивый, но теплый, ни на секунду не затихающий ветер. Шушашин распахнул полы пальто, и ветер, толкая их, как парус, вел, поворачивая скольльзящие шаги из переулка в переулки. Лед, переступив через точку таяния, расплзался лужами, но лужи под ударами подошв были бесплескны и тихи. Всё было стереоскопически бездвижно и стыло. Так что ритмически закачавшиеся тени у верхнего края стены, близящейся к глазу, заставили Шушашина поднять взгляд к тому, что их отбрасывало: на приземистой колокольне в полном беззвучии под рывками веревок раскачивались колокола. Но ветер повернул правую полу – и снова навстречу скольжению шагов с новой, на этот раз высокой, в узорных слухах, колокольни бешеная раскачка безъязыких, звонящих беззвонный благовест колоколов.

Шушашин не успел проапперципировать, как поперек ветра, в шаге от глаз, взмахнула козырьком чья-то кепка, и голос из-под кепки, вдуваясь в ухо вместе с ветром, отрекомендовался:



– И Я. Без точек. Да-да, и я. Я всякий раз, когда мне ни разу.

Шушашин оглядел: невнятная фигура и лицо без примет.

– Моему я еще во множество мест. Так что коротенько: мысль немее рыб, к дну, но если их глушить, они всплывают наверх.

И повернув конферируемого за полу влево, И Я сделал знак воздуху. Тот надал – и Шушашин быстро заскользил вперед.

Так же внезапно порыв ветра оборвался. Пальто спало, как парус в штиль. Шушашин, стоя у незнакомого, очевидно, окраинного перекрестка, среди заборов и низких крыш, с недоумением оглядывал обступившие его контуры. Вдоль забора к низкому крылечку и квадрату вывески над ним тянулась, длинным солитером, очередь. Людей, вжавшихся чередую плеч в доски забора, можно было принять – с расстояния в два-три десятка шагов – за пятна сырости или кляксы теней, но Шушашин в эту ночь видел как-то особенно остро и сразу же опознал: люди.

Прежде всего, желая эмансипироваться от возможных непредвиденностей, он застегнул шубу, подвернул полы и только тогда приблизился к очереди. “Любопытно, что им тут выдают?”

Проще всего было осведомиться у вывески. Шушашин так и сделал. На квадрате: по четырем углам четыре знака – А, Е, I, O<sup>2</sup>, а у скрещения диагоналей латинское – “contradictio<sup>3</sup>”.

Непонимающий взгляд Шушашина перешел от квадрата к ряду из людей. Еще непонятнее: стоящие лбами в затылки были в добротных шубах, над каракулями и мехами белели воротнички, а кое-где к носам липли стекла; под локтями у них вместо корзин и мешков поблескивала кожа портфелей и топорщились пачки тетрадей и книг. Шушашин, вероятно, не сразу бы решился на расспросы, если б не знакомая, по недавней еще утренней встрече, толстая шуба с воротником, встопорщившимся вокруг донца шапки. Ну да, конечно, это был тот, выселенный из своей головы.

– Будьте любезны, эта очередь за чем?

– За зачем, – прогугнило из воротника, и шуба отвернулась.

Но английский драп, стоявший двумя номерами дальше, переложил плотную пачку из-под одного локтя под другой и любезно проинформировал:

– Видите ли, тут мм... выдают логику. Если ваш талон М не отрезан, можно получить средние термины. Торопитесь, термина может не хватить. Только, пожалуйста, в хвост.

– А скажите, – выдернулась откуда-то сзади безлобая на жирафьей шее голова, – а правда ли, что средний термин предположено, в целях рационализации, унифицировать?

– Понятия не имею.

– Разумеется, не имеете, раз вам его не выдали. По-моему, единоэтность надо всячески приветствовать: ведь М в “S есть P”<sup>4</sup> всё равно никогда не попадает, следовательно, не всё ли равно, какое оно там. На какого Канта нам...

---

<sup>2</sup> Здесь Кржижановский вспоминает о том, что все логические суждения делятся на четыре класса: А (общеутвердительные суждения: «все S суть P»), Е (общеотрицательные: «ни одно S не есть P»), I (частно-утвердительные: «некоторые S суть P»), О (частно-отрицательные: «некоторые S не суть P»), а отношения между классами принято представлять в виде схемы, называемой “логическим квадратом”.

<sup>3</sup> противоречащие (лат.).

<sup>4</sup> Речь идет о строении силлогизма – формы умозаключения, в которой из двух суждений необходимо вытекает третье. Исходные суждения называются “посылками” (praemissae), а новое суждение – “заключением” (conclusio). В Записных Тетрадах Кржижановского есть фрагмент: “Моя художественная логика: Все люди смертны. Кай – смертен. Следовательно, Кай, хоть немножко, да человек”. В “нехудожественном” варианте этот силлогизм выглядел бы так: “Все люди суть смертные. Кай (есть) человек. (Следовательно) Кай (есть) смертный”. Заключение силлогизма состоит из двух терминов – субъекта (S =

– Ну все-таки, – забурчало сквозь седую проволоку наёженных усов, – философия, позволю себе так выразиться...

– Философия? – качнулась шея. – Хорошенькое имечко: ведь это по-нашенски, без всяких там пи и си, “любовь к мудрости”. Без двух секунд порнография-с.

– Ну а как же мне ее называть?

– Проще всего – никак. А если приспичило, ну там как-нибудь: “соболезнование к мудрости” или что-нибудь в этом роде. А то вдруг... истиннизм и размыслийство.

– Правильно, – подхватило где-то из последних хвостовых позвонков очереди сипловатое профундо, – одобряю. Но все-таки с распределением логизмов недостаточно налажено. Путают. Посудите сами: в прошлый раз мне вместо “Baroko” ткнули “Barbara”, а вместо “Bokardo” – “Bramantip”. На кой ляд мне общеутвердительная посылка, когда мне нужно для моей статьи частно-отрицательную.<sup>5</sup>

– Ах, вот как, – протянула шея, – частно-отрицательную? А вам известно, что всякого рода частничество ликвидируется, а?

На минуту воцарилось молчание. Вдруг чья-то робкая фистула:

– Вот вы всё знаете. Я, видите ли, писатель. Говорят, предстоит пересчет мыслей, и те, скажем, у которых их на протяжении “полного собрания” три, а не две или там четыре, а три...

– Разумеется, – отчеканил вопрошаемый, – вы бы еще сказали “пять-шесть”, подобно тершемуся по заграницам помещику Чацкому. И в мышлении необходимо твердо держать линию на бедняцкие умы. А всех этих... и вообще писательский короб надо бы перетряхнуть. Пощупать, что там у вас под теменами.

– Помилуйте, решительно ничего, – взмолился фальцет.

– Гм, можно и ничее. И вообще строчкистов надо поукоротить. Держать литературу в тысячу голов – это нам не по средствам. Посудите сами: очередная тема у нас обычно одна, ну и идеологии не две же. Если один рабочий одной лопатой в один рабдень вырывает один кубический метр, то и тысяча рабочих *одной лопатой* в тот же срок выроят тот же кубометр. Следовательно, сокращая штат беллетра, очередную можно обслужить одним дежурным пером. Вместо сотен гонораров – один, а вместо ста десяти-тысячных тиражей – один разпроархитираж в миллион экземпляров. В каком порядке дежурства? Допустим, в алфавитном или...

---

Кай) и предиката (P = смертный). Термин, который присутствует в посылках, но отсутствует в заключении, – это средний термин (M, terminus medius = человек). То есть средний термин M, по определению, отсутствует в заключении “S есть P”.

<sup>5</sup> Любой силлогизм можно представить как последовательность трех букв, обозначающих *большую посылку, меньшую посылку и заключение*. Суждения могут комбинироваться не как угодно, но сообразно правилам логики. Число правильных силлогизмов 11, а если к тому же учесть положение среднего термина в посылках, то получим 19 правильных видов силлогизма (19 модусов), распределенных на 4 класса (4 фигуры). Учащихся гимназии времен Кржижановского заставляли запоминать эти 19 модусов наизусть, для облегчения заучивания придумали для учебника логики стихотворение, написанное гекзаметром (подобно тому, как в учебник русского языка был сочинен стишок для заучивания исключений с “ять”):

*Bárbara, Célarént, Darii, Ferióque prióris;*  
*Césare, Cáestrés, Festinó, Baróko, secúndae;*  
*Tértia Dárápti, Disamís, Dátisi, Felápton,*  
*Bókardó, Ferisón habét: Quarta insuper áddit*  
*Brámantip, Camenés, Dimaris, Fesápo, Fresison.*

Три гласные из каждого набранного курсивом слова означают отдельный модус: ААА, ЕАЕ и т.д. Таким образом, каждый модус силлогизма можно представить либо в виде сочетания трех букв (например, АОО или ААА), либо в виде звучного слова (Baroko или Barbara). “Раздача логизмов стоящим в очереди гражданам” отсылает к “распределению логизмов” в логике. Таким образом, в тексте новеллы некий гражданин два раза подряд нуждался в частно-отрицательной посылке, а ему дважды вместо нее предлагали обще-утвердительную.

– Но ведь моя фамилия на “у”, – взвизгнул фальцет.

В это время дверь под скрещением диагоналей беззвучно распахнулась, и из разъя-  
тых створ ее пахнуло ледяной логикой. Ёжась и присутуливаясь, очередь стала медлен-  
но вползать внутрь.

Шушашин, обойдя ее хвост, продолжал путь меж полувтоптавшихся в землю подва-  
лов по узким тротуарам окраинного переулочья. Сверху, сквозь черную ночь, летели  
мягкими и влажными касаниями снежины. Огибая одно из крылец, вышагнувших тре-  
мя ступеньками на тротуар, он заметил неподвижную, с втянутыми внутрь себя плеча-  
ми, фигуру. Сидя на верхней ступеньке, с дыханием, запрятым в воротник холодно-  
го пальто, человек, очевидно, спал. Спальне его, если учесть короткий навес, не хватало  
трех стен и одной кровати, не считая постельных принадлежностей. Шушашин, на-  
гнувшись, притронулся к груди человека, и под пальцами у него что-то прошелестело:  
не то дыхание, не то рукопись, запрятая под ткань. Но человек не пробуждался. То-  
гда Шушашин пригнулся еще ниже: лицо человека было... лицом *человека*; но только  
поперек костистого лба – тесный шнур, книзу – на короткой свеси – пломба. Шушашин  
распряился. Ясно: мышление под этой просторной лобной костью было опечатано.  
Оставалось – дальше.

Шушашин шел, стараясь набрести на знакомую улицу. Но вокруг бесконечным ря-  
дом тянулись черные впадины окон, точно ниши гигантского крематория, и тут он стал  
замечать некую странность: влажный и теплый снег, увязавшийся за ним медленными,  
неотстающими хлопьями вдоль душного бездушья переулков, оседая на губах, давал  
какой-то сладковатый и железистый привкус. Шушашин вынул носовой платок и отер  
губы. На платке – темное пятно. Навстречу, из-за угла, выставился в мутном зеленова-  
том нимбе фонарь. Шушашин вошел в круг света и увидел: медленно рея неисчислимо-  
стью хлопьев, на землю падал красный снег. Булыжины улиц были в красных лужах.  
Из дождевых труб текла алая прелая жижа. И с его, шушашинских, пальцев капали  
пурпурные капли. Шушашин зажал веки и, сослепу лоя пространство, пошел вперед.  
Сначала ладонь ткнулась о фонарную вертикаль, потом пустой воздух, потом стена.  
Шушашин стоял так, стараясь перехватить сердце, выпрыгивающее в горло.

И вдруг прикосновение руки к локтю. Шушашин пошел ладонями по стене. Но рука  
– тоже по стене – вслед. Шушашин вокруг оси – и вжал лопатки в стену: экзерцис все-  
таки пригодился.

Две-три секунды молчание. Потом в трех шагах вперед – острый металлический  
скрип: “В последний раз”, – и Шушашин открыл глаза. Против него – человек чрезвы-  
чайно мирного, чуть даже согбенного вида: приставив профиль к своей левой калоше,  
он ухватил себя за голову, равномерным кругообразным движением, как это делают с  
электрической лампочкой, вывинчивая ее из-под воротника. Шушашин хотел схватить  
взглядом лицо согбенного, но голова, поворачиваясь под пальцами то лицом, то затыл-  
ком, не давала себя апперципировать. Поворот, еще поворот, и рука согбенного протя-  
гивала застигнутому им прохожему свою голову – тем специфическим жестом, каким  
нищие подставляют свою деревянную миску под доброхотный пятак. Шушашин хотел  
было попятиться от лысого шара с покосившимся от манипуляций пенсне над переноси-  
цей, но в это мгновение губы на шаре зашевелились – и:

– Подайте философу на философему. Бывший бог вам воздаст. Писывал я о Беме. А  
теперь: ни бе, ни ме.

Шушашин, отмахиваясь рукой, хотел мимо, но клянчащая голова перегоразивала  
путь. Тогда он толкнул ее. Выскользнув из рук, она плюхнулась в красную лужу и по-  
катилась под ноги Шушашину. Он споткнулся о красный шар и, еле удерживая равновесие,  
пнул его прочь. Пунцовая сырная голова запрыгала с деревянным стуком по бу-  
лыжнику.

Шушашин, не оглядываясь, почти бежал вперед и вперед. Предчувствие рассвета – синими прожилками – ввивалось в черный тяжкий мрамор ночи. Случайно мелькнул знакомый перекресток. Переходя из шага в бег, Шушашин быстро взял один квартал, за ним другой, мимо глаз пронеслась в сыром предутрии витрина с дюжиной таких же вот деревянных и кровавых голов, убегающие в землю ступеньки “скоропочинной”, подворотня, двор, подворотня, двор – и вдруг Шушашин стал, как врытый, и сердце рванулось в нем, будто пробуя сорваться с жильных тяжей. Все окна, что против глаз, были темны, и только одно, его, шушашинское, окно горело ярким светом.

Шушашин дико вскрикнул и... проснулся. Комната и воздух за окном были черны. Но напротив, красной прорезью в ночь, горело чужое окно. Шушашин лежал на спине, головой в жаркую подушку. И не успел он приподняться на локте, как свет уже зашелкнулся. Сидя на своей кровати, подбородком в колени, Шушашин думал: “Да, если их глушить, они всплывают, но только мертвые”.

1930

*Публикация Вадима ПЕРЕЛЬМУТЕРА*

Опубликовано в журнале: [«Октябрь» 2006, №1](#)